Записки юного врача

Автор:
Михаил Булгаков

Записки юного врача

Михаил Афанасьевич Булгаков

«Записки юного врача» – уникальный сборник рассказов Михаила Булгакова, который раскрывает важную, но не всем известную сторону жизни автора – молодого врача.

Рассказы во многом основаны на опыте работы Булгакова врачом в сельской больнице, где будущий писатель, проводя сложнейшие операции, пытался осмыслить свое жизненное предназначение.

Михаил Булгаков

Записки юного врача

Полотенце с петухом

Если человек не ездил на лошадях по глухим проселочным дорогам, то рассказывать мне ему об этом нечего: все равно он не поймет. А тому, кто ездил, и напоминать не хочу.

Скажу коротко: сорок верст, отделяющих уездный город Грачевку от Мурьевской больницы, ехали мы с возницей моим ровно сутки. И даже до курьезного ровно: в два часа дня 16 сентября 1917 года мы были у последнего лабаза,

помещающегося на границе этого замечательного города Грачевки, а в два часа пять минут 17 сентября того же 17-го незабываемого года я стоял на битой, умирающей и смякшей от сентябрьского дождика траве во дворе Мурьевской больницы. Стоял я в таком виде: ноги окостенели, и настолько, что я смутно тут же, во дворе, мысленно перелистывал страницы учебников, тупо стараясь припомнить, существует ли действительно, или мне это померещилось во вчерашнем сне в деревне Грабиловке, болезнь, при которой у человека окостеневают мышцы? Как ее, проклятую, зовут по-латыни? Каждая из мышц этих болела нестерпимой болью, напоминающей зубную боль. О пальцах на ногах говорить не приходится – они уже не шевелились в сапогах, лежали смирно, были похожи на деревянные культяпки. Сознаюсь, что в порыве малодушия я проклинал шепотом медицину и свое заявление, поданное пять лет назад ректору университета. Сверху в это время сеяло, как сквозь сито. Пальто мое набухло, как губка. Пальцами правой руки я тщетно пытался ухватиться за ручку чемодана и наконец плюнул на мокрую траву. Пальцы мои ничего не могли хватать, и опять мне, начиненному всякими знаниями из интересных медицинских книжек, вспомнилась болезнь – паралич.

«Парализис», – отчаянно мысленно и черт знает зачем сказал я себе.

– П…по вашим дорогам, – заговорил я деревянными, синенькими губами, – нужно п…привыкнуть ездить…

И при этом злобно почему-то уставился на возницу, хотя он, собственно, и не был виноват в такой дороге.

– Эх… товарищ доктор, – отозвался возница, тоже еле шевеля губами под светлыми усишками, – пятнадцать годов езжу, а все привыкнуть не могу.

Я содрогнулся, оглянулся тоскливо на белый облупленный двухэтажный корпус, на небеленые бревенчатые стены фельдшерского домика, на свою будущую резиденцию – двухэтажный, очень чистенький дом с гробовыми загадочными окнами, протяжно вздохнул. И тут же мутно мелькнула в голове вместо латинских слов сладкая фраза, которую спел в ошалевших от качки и холода мозгах полный тенор с голубыми ляжками: «…Привет тебе… приют священный…»

Прощай, прощай надолго, золото-красный Большой театр, Москва, витрины… ах, прощай…

«Я тулуп буду в следующий раз надевать… – в злобном отчаянии думал я и рвал чемодан за ремни негнущимися руками, – я… хотя в следующий раз будет уже октябрь… хоть два тулупа надевай. А раньше чем через месяц я не поеду, не поеду в Грачевку… Подумайте сами… ведь ночевать пришлось! Двадцать верст сделали и оказались в могильной тьме… ночь… в Грабиловке пришлось ночевать… учитель пустил… А сегодня утром выехали в семь утра… и вот едешь… батюшки-светы… медленнее пешехода. Одно колесо ухает в яму, другое на воздух подымается, чемодан на ноги – бух… потом на бок, потом на другой, потом носом вперед, потом затылком. А сверху сеет и сеет, и стынут кости. Да разве я мог бы поверить, что в середине серенького, кислого сентября человек может мерзнуть в поле, как в лютую зиму?! Ан, оказывается, может. И пока умираешь медленною смертью, видишь одно и то же, одно. Справа горбатое обглоданное поле, слева чахлый перелесок, а возле него серые, драные избы, штук пять или шесть. И кажется, что в них нет ни одной живой души. Молчание, молчание кругом…»

Чемодан наконец поддался. Возница налег на него животом и выпихнул его прямо на меня. Я хотел удержать его за ремень, но рука отказалась работать, и распухший, осточертевший мой спутник с книжками и всяким барахлом плюхнулся прямо на траву, шарахнув меня по ногам.

– Эх ты, госпо… – начал возница испуганно, но я никаких претензий не предъявлял: ноги у меня были все равно хоть выбрось их.

– Эй, кто тут? Эй! – закричал возница и захлопал руками, как петух крыльями. – Эй, доктора привез!

Тут в темных стеклах фельдшерского домика показались лица, прилипли к ним, хлопнула дверь, и вот я увидел, как заковылял по траве ко мне человек в рваненьком пальтишке и сапожишках. Он почтительно и торопливо снял картуз, подбежав на два шага ко мне, почему-то улыбнулся стыдливо и хриплым голоском приветствовал меня:

– Здравствуйте, товарищ доктор.

– Кто вы такой? – спросил я.

– Егорыч я, – отрекомендовался человек, – сторож здешний. Уж мы вас ждем, ждем…

И тут же он ухватился за чемодан, вскинул его на плечо и понес. Я захромал за ним, безуспешно пытаясь всунуть руку в карман брюк, чтобы вынуть портмоне.

Человеку, в сущности, очень немного нужно. И прежде всего ему нужен огонь. Направляясь в мурьевскую глушь, я, помнится, еще в Москве давал себе слово – держать себя солидно. Мой юный вид отравлял мне существование на первых шагах. Каждому приходилось представляться:

– Доктор такой-то.

И каждый обязательно поднимал брови и спрашивал:

– Неужели? А я-то думал, что вы еще студент.

– Нет, я закончил, – хмуро отвечал я и думал: «Очки мне нужно завести, вот что». Но очки было заводить не к чему, глаза у меня были здоровые, и ясность их еще не была омрачена житейским опытом. Не имея возможности защищаться от всегдашних снисходительных и ласковых улыбок при помощи очков, я старался выработать особую, внушающую уважение повадку. Говорить пытался размеренно и веско, порывистые движения по возможности сдерживать, не бегать, как бегают люди в двадцать три года, окончившие университет, а ходить. Выходило все это, как теперь, по прошествии многих лет, понимаю, очень плохо.

В данный момент я этот свой неписаный кодекс поведения нарушил. Сидел скорчившись, сидел в одних носках, и не где-нибудь в кабинете, а сидел в кухне и, как огнепоклонник, вдохновенно и страстно тянулся к пылающим в плите березовым поленьям. На левой руке у меня стояла перевернутая дном кверху кадушка, и на ней лежали мои ботинки, рядом с ними ободранный, голокожий петух с окровавленной шеей, рядом с петухом его разноцветные перья грудой. Дело в том, что еще в состоянии окоченения я успел произвести целый ряд действий, которых потребовала сама жизнь. Востроносая Аксинья, жена Егорыча, была утверждена мною в должности моей кухарки. Вследствие этого и

погиб под ее руками петух. Его я должен был съесть. Я со всеми перезнакомился. Фельдшера звали Демьян Лукич, акушерок – Пелагея Ивановна и Анна Николаевна. Я успел обойти больницу и с совершеннейшей ясностью убедился в том, что инструментарий в ней богатейший. При этом с тою же ясностью я вынужден был признать (про себя, конечно), что очень многих блестящих девственно инструментов назначение мне вовсе не известно. Я их не только не держал в руках, но даже, откровенно признаюсь, и не видал.

– Гм, – очень многозначительно промычал я, – однако у вас инструментарий прелестный. Гм…

– Как же-с, – сладко заметил Демьян Лукич, – это все стараниями вашего предшественника Леопольда Леопольдовича. Он ведь с утра до вечера оперировал.

Тут я облился прохладным потом и тоскливо поглядел на зеркальные сияющие шкафики.

Засим мы обошли пустые палаты, и я убедился, что в них свободно можно разместить сорок человек.

– У Леопольда Леопольдовича иногда и пятьдесят лежало, – утешил меня Демьян Лукич, а Анна Николаевна, женщина в короне поседевших волос, к чему-то сказала:

– Вы, доктор, так моложавы, так моложавы… Прямо удивительно. Вы на студента похожи.

«Фу ты, черт, – подумал я, – как сговорились, честное слово!»

И проворчал сквозь зубы, сухо:

– Гм… нет, я… то есть я… да, моложав…

Затем мы спустились в аптеку, и сразу я увидел, что в ней не было только птичьего молока. В темноватых двух комнатах крепко пахло травами, и на полках стояло все, что угодно. Были даже патентованные заграничные средства,

и нужно ли добавлять, что я никогда не слыхал о них ничего.

– Леопольд Леопольдович выписал, – с гордостью доложила Пелагея Ивановна.

«Прямо гениальный человек был этот Леопольд», – подумал я и проникся уважением к таинственному, покинувшему тихое Мурьево Леопольду.

Человеку, кроме огня, нужно еще освоиться. Петух был давно мною съеден, сенник для меня набит Егорычем, покрыт простыней, горела лампа в кабинете в моей резиденции. Я сидел и, как зачарованный, глядел на третье достижение легендарного Леопольда: шкаф был битком набит книгами. Одних руководств по хирургии на русском и немецком языках я насчитал бегло около тридцати томов. А терапия! Накожные чудные атласы!

Надвигался вечер, и я осваивался.

«Я ни в чем не виноват, – думал я упорно и мучительно, – у меня есть диплом, я имею пятнадцать пятерок. Я же предупреждал еще в том большом городе, что хочу идти вторым врачом. Нет. Они улыбались и говорили: «Освоитесь». Вот тебе и освоитесь. А если грыжу привезут? Объясните, как я с нею освоюсь? И в особенности каково будет себя чувствовать больной с грыжей у меня под руками? Освоится он на том свете (тут у меня холод по позвоночнику…).

А гнойный аппендицит? Га! А дифтерийный круп у деревенских ребят? Когда трахеотомия показана? Да и без трахеотомии будет мне не очень хорошо… А… а… роды! Роды-то забыл! Неправильные положения. Что ж я буду делать? А? Какой я легкомысленный человек! Нужно было отказаться от этого участка. Нужно было. Достали бы себе какого-нибудь Леопольда».

В тоске и сумерках я прошелся по кабинету. Когда поравнялся с лампой, увидал, как в безграничной тьме полей мелькнул мой бледный лик рядом с огоньками лампы в окне.

«Я похож на Лжедмитрия», – вдруг глупо подумал я и опять уселся за стол.

Часа два в одиночестве я мучил себя и домучил до тех пор, что уж больше мои нервы не выдерживали созданных мною страхов. Тут я начал успокаиваться и

даже создавать некоторые планы.

Так-с… Прием, они говорят, сейчас ничтожный. В деревнях мнут лен, бездорожье… «Тут-то тебе грыжу и привезут, – бухнул суровый голос в мозгу, – потому что по бездорожью человек с насморком (нетрудная болезнь) не поедет, а грыжу притащат, будь покоен, дорогой коллега доктор».

Голос был неглуп, не правда ли? Я вздрогнул.

«Молчи, – сказал я голосу, – не обязательно грыжа. Что за неврастения? Взялся за гуж, не говори, что не дюж».

«Назвался груздем, полезай в кузов», – ехидно отозвался голос.

Так-с… со справочником я расставаться не буду… Если что выписать, можно, пока руки моешь, обдумать. Справочник будет раскрытым лежать прямо на книге для записей больных. Буду выписывать полезные, но нетрудные рецепты. Ну, например, натри салицилици 0,5 по одному порошку три раза в день…

«Соду можно выписать!» – явно издеваясь, отозвался мой внутренний собеседник.

При чем тут сода? Я и ипекакуанку выпишу инфузум… на сто восемьдесят. Или на двести. Позвольте.

И тут же, хотя никто и не требовал от меня в одиночестве у лампы ипекакуанки, я малодушно перелистал рецептурный справочник, проверил ипекакуанку, а попутно прочитал машинально и о том, что существует на свете какой-то «инсипин». Он не кто иной, как «сульфат эфира хининдигликолевой кислоты»… Оказывается, вкуса хинина не имеет! Но зачем он? И как его выписать? Он что, порошок? Черт его возьми!

«Инсипин инсипином, а как же все-таки с грыжей будет?» – упорно приставал страх в виде голоса.

«В ванну посажу, – остервенело защищался я, – в ванну. И попробую вправить».

«Ущемленная, мой ангел! Какие тут, к черту, ванны! Ущемленная, – демонским голосом пел страх. – Резать надо…»

Тут я сдался и чуть не заплакал. И моление тьме за окном послал: все, что угодно, только не ущемленную грыжу.

А усталость напевала:

«Ложись ты спать, злосчастный эскулап. Выспишься, а утром будет видно. Успокойся, юный неврастеник. Гляди – тьма за окнами покойна, спят стынущие поля, нет никакой грыжи. А утром будет видно. Освоишься… Спи… Брось атлас… Все равно ни пса сейчас не разберешь. Грыжевое кольцо…»

Как он влетел, я даже не сообразил. Помнится, болт на двери загремел, Аксинья что-то пискнула. Да еще за окнами проскрипела телега.

Он без шапки, в расстегнутом полушубке, со свалявшейся бородкой, с безумными глазами.

Он перекрестился, и повалился на колени, и бухнул лбом в пол. Это мне.

«Я пропал», – тоскливо подумал я.

– Что вы, что вы, что вы! – забормотал я и потянул за серый рукав.

Лицо его перекосило, и он, захлебываясь, стал бормотать в ответ прыгающие слова:

– Господин доктор… господин… единственная, единственная… Единственная! – выкрикнул он вдруг по-юношески звонко, так, что дрогнул ламповый абажур. – Ах ты господи… Ах… – Он в тоске заломил руки и опять забухал лбом в половицы, как будто хотел разбить его. – За что? За что наказанье?.. Чем прогневали?

– Что? Что случилось?! – выкрикнул я, чувствуя, что у меня холодеет лицо.

Он вскочил на ноги, метнулся и прошептал так:

– Господин доктор… что хотите… денег дам… Деньги берите, какие хотите. Какие хотите. Продукты будем доставлять… Только чтоб не померла. Только чтоб не померла. Калекой останется – пущай. Пущай! – кричал он в потолок. – Хватит прокормить, хватит.

Бледное лицо Аксиньи висело в черном квадрате двери. Тоска обвилась вокруг моего сердца.

– Что?.. Что? Говорите! – выкрикнул я болезненно.

Он стих и шепотом, как будто по секрету, сказал мне, и глаза его стали бездонны:

– В мялку попала…

– В мялку… в мялку?.. – переспросил я. – Что это такое?

– Лен, лен мяли… господин доктор… – шепотом пояснила Аксинья, – мялка-то… лен мнут…

«Вот начало. Вот. О, зачем я приехал!» – в ужасе подумал я.

– Кто?

– Дочка моя, – ответил он шепотом, а потом крикнул: – Помогите! – И вновь повалился, и стриженные его в скобку волосы метнулись на его глаза.

Лампа-«молния» с покривившимся жестяным абажуром горела жарко, двумя рогами. На операционном столе, на белой, свежепахнущей клеенке я ее увидел, и грыжа померкла у меня в памяти.

Светлые, чуть рыжеватые волосы свешивались со стола сбившимся засохшим колтуном. Коса была гигантская, и конец ее касался пола.

Ситцевая юбка была изорвана, и кровь на ней разного цвета – пятно бурое, пятно жирное, алое. Свет «молнии» показался мне желтым и живым, а ее лицо

бумажным, белым, нос заострен.

На белом лице у нее, как гипсовая, неподвижная, потухала действительно редкостная красота. Не всегда, не часто встретишь такое лицо.

В операционной секунд десять было полное молчание, но за закрытыми дверями слышно было, как глухо выкрикивал кто-то и бухал, все бухал головой.

«Обезумел, – думал я, – а сиделки, значит, его отпаивают… Почему такая красавица? Хотя у него правильные черты лица… Видно, мать была красивая… Он вдовец…»

– Он вдовец? – машинально шепнул я.

– Вдовец, – тихо ответила Пелагея Ивановна.

Тут Демьян Лукич резким, как бы злобным движением от края до верху разорвал юбку и сразу ее обнажил. Я глянул, и то, что увидал, превысило мои ожидания. Левой ноги, собственно, не было. Начиная от раздробленного колена, лежала кровавая рвань, красные мятые мышцы и остро во все стороны торчали белые раздавленные кости. Правая была переломлена в голени так, что обе кости концами выскочили наружу, пробив кожу. От этого ступня ее безжизненно, как бы отдельно, лежала, повернувшись набок.

– Да, – тихо молвил фельдшер и ничего больше не прибавил.

Тут я вышел из оцепенения и взялся за ее пульс. В холодной руке его не было. Лишь после нескольких секунд нашел я чуть заметную редкую волну. Она прошла… потом была пауза, во время которой я успел глянуть на синеющие крылья носа и белые губы… Хотел уже сказать: конец… по счастью, удержался… Опять прошла ниточкой волна.

«Вот как потухает изорванный человек, – подумал я, – тут уж ничего не сделаешь…»

Но вдруг сурово сказал, не узнавая своего голоса:

– Камфары.

Тут Анна Николаевна склонилась к моему уху и шепнула:

– Зачем, доктор? Не мучайте. Зачем еще колоть? Сейчас отойдет… Не спасете.

Я злобно и мрачно оглянулся на нее и сказал:

– Попрошу камфары…

Так, что Анна Николаевна с вспыхнувшим, обиженным лицом сейчас же бросилась к столику и сломала ампулу.

Фельдшер тоже, видимо, не одобрял камфары. Тем не менее он ловко и быстро взялся за шприц, и желтое масло ушло под кожу плеча.

«Умирай. Умирай скорее, – подумал я, – умирай. А то что же я буду делать с тобой?»

– Сейчас помрет, – как бы угадав мою мысль, шепнул фельдшер. Он покосился на простыню, но, видимо, раздумал: жаль было кровавить простыню. Однако через несколько секунд ее пришлось прикрыть. Она лежала, как труп, но она не умерла. В голове моей вдруг стало светло, как под стеклянным потолком нашего далекого анатомического театра.

– Камфары еще, – хрипло сказал я.

И опять покорно фельдшер впрыснул масло.

«Неужели же не умрет?.. – отчаянно подумал я. – Неужели придется…»

Все светлело в мозгу, и вдруг без всяких учебников, без советов, без помощи я сообразил – уверенность, что сообразил, была железной, – что сейчас мне придется в первый раз в жизни на угасающем человеке делать ампутацию. И человек этот умрет под ножом. Ах, под ножом умрет. Ведь у нее же нет крови! За десять верст вытекло все через раздробленные ноги, и неизвестно даже, чувствует ли она что-нибудь сейчас, слышит ли. Она молчит. Ах, почему она не

умирает? Что скажет мне безумный отец?

– Готовьте ампутацию, – сказал я фельдшеру чужим голосом.

Акушерка посмотрела на меня дико, но у фельдшера мелькнула искра сочувствия в глазах, и он заметался у инструментов. Под руками у него взревел примус…

Прошло четверть часа. С суеверным ужасом я вглядывался в угасший глаз, приподымая холодное веко. Ничего не постигаю. Как может жить полутруп? Капли пота неудержимо бежали у меня по лбу из-под белого колпака, и марлей Пелагея Ивановна вытирала соленый пот. В остатках крови в жилах у девушки теперь плавал и кофеин. Нужно было его впрыскивать или нет? На бедрах Анна Николаевна, чуть-чуть касаясь, гладила бугры, набухшие от физиологического раствора. А девушка жила.

Я взял нож, стараясь подражать (раз в жизни в университете я видел ампутацию) кому-то… Я умолял теперь судьбу, чтобы уж в ближайшие полчаса она не померла… «Пусть умрет в палате, когда я окончу операцию…»

За меня работал только мой здравый смысл, подхлестнутый необычайностью обстановки. Я кругообразно и ловко, как опытный мясник, острейшим ножом полоснул бедро, и кожа разошлась, не дав ни одной росинки крови. «Сосуды начнут кровить, что я буду делать?» – думал я и, как волк, косился на груду торзионных пинцетов. Я срезал громадный кус женского мяса и один из сосудов – он был в виде беловатой трубочки, – но ни капли крови не выступило из него. Я зажал его торзионным пинцетом и двинулся дальше. Я натыкал эти торзионные пинцеты всюду, где предполагал сосуды… «Arteria… Arteria… как, черт, ее?..» В операционной стало похоже на клинику. Торзионные пинцеты висели гроздьями. Их марлей оттянули кверху вместе с мясом, и я стал мелкозубой ослепительной пилой пилить круглую кость. «Почему не умирает?.. Это удивительно… ох, как живуч человек!»

И кость отпала. В руках у Демьяна Лукича осталось то, что было девичьей ногой. Лохмы мяса, кости! Все это отбросили в сторону, и на столе оказалась девушка, как будто укороченная на треть, с оттянутой в сторону культей. «Еще, еще немножко… не умирай, – вдохновенно думал я, – потерпи до палаты, дай мне выскочить благополучно из этого ужасного случая моей жизни».

Потом вязали лигатурами, потом, щелкая коленом, я стал редкими швами зашивать кожу… но остановился, осененный, сообразил… оставил сток… вложил марлевый тампон… Пот застилал мне глаза, и мне казалось, будто я в бане…

Отдулся. Тяжело посмотрел на культю, на восковое лицо. Спросил:

– Жива?

– Жива… – как беззвучное эхо, отозвались сразу и фельдшер и Анна Николаевна.

– Еще минуточку проживет, – одними губами, без звука в ухо сказал мне фельдшер. Потом запнулся и деликатно посоветовал: – Вторую ногу, может, и не трогать, доктор. Марлей, знаете ли, замотаем… а то не дотянет до палаты… А? Все лучше, если не в операционной скончается.

– Гипс давайте, – сипло отозвался я, толкаемый неизвестной силой.

Весь пол был заляпан белыми пятнами, все мы были в поту. Полутруп лежал недвижно. Правая нога была забинтована гипсом, и зияло на голени вдохновенно оставленное мною окно на месте перелома.

– Живет… – удивленно хрипнул фельдшер.

Затем ее стали подымать, и под простыней был виден гигантский провал – треть ее тела мы оставили в операционной.

Затем колыхались тени в коридоре, шмыгали сиделки, и я видел, как по стене прокралась растрепанная мужская фигура и издала сухой вопль. Но его удалили. И стихло.

В операционной я мыл окровавленные по локоть руки.

– Вы, доктор, вероятно, много делали ампутаций? – вдруг спросила Анна Николаевна. – Очень, очень хорошо… Не хуже Леопольда…

В ее устах слово «Леопольд» неизменно звучало, как «Дуайен».

Я исподлобья взглянул на лица. И у всех – и у Демьяна Лукича и у Пелагеи Ивановны – заметил в глазах уважение и удивление.

– Кхм… я… Я только два раза делал, видите ли…

Зачем я солгал? Теперь мне это непонятно.

В больнице стихло. Совсем.

– Когда умрет, обязательно пришлите за мной, – вполголоса приказал я фельдшеру, и он почему-то вместо «хорошо» ответил почтительно:

– Слушаю-с…

Через несколько минут я был у зеленой лампы в кабинете докторской квартиры. Дом молчал.

Бледное лицо отражалось в чернейшем стекле.

«Нет, я не похож на Дмитрия Самозванца, и я, видите ли, постарел как-то… Складка над переносицей… Сейчас постучат… скажут: «Умерла…»

«Да, пойду и погляжу в последний раз… сейчас раздастся стук…»

В дверь постучали. Это было через два с половиной месяца. В окне сиял один из первых зимних дней.

Вошел он, я его разглядел только тогда. Да, действительно черты лица правильные. Лет сорока пяти. Глаза искрятся.

Затем шелест… На двух костылях впрыгнула очаровательной красоты одноногая девушка в широчайшей юбке, обшитой по подолу красной каймой.

Она поглядела на меня, и щеки ее замело розовой краской.

– В Москве… в Москве… – И я стал писать адрес. – Там устроят протез, искусственную ногу.

– Руку поцелуй, – вдруг неожиданно сказал отец.

Я до того растерялся, что вместо губ поцеловал ее в нос.

Тогда она, обвисая на костылях, развернула сверток, и выпало длинное снежно-белое полотенце с безыскусственным красным вышитым петухом. Так вот что она прятала под подушку на осмотрах. То-то, я помню, нитки лежали на столике.

– Не возьму, – сурово сказал я и даже головой замотал. Но у нее стало такое лицо, такие глаза, что я взял…

И много лет оно висело у меня в спальне в Мурьеве, потом странствовало со мной. Наконец обветшало, стерлось, продырявилось и исчезло, как стираются и исчезают воспоминания.

Крещение поворотом

Побежали дни в N-ской больнице, и я стал понемногу привыкать к новой жизни.

В деревнях по-прежнему мяли лен, дороги оставались непроезжими, и на приемах у меня бывало не больше пяти человек. Вечера были совершенно свободны, и я посвящал их разбору библиотеки, чтению учебников по хирургии и долгим одиноким чаепитиям у тихо поющего самовара.

Целыми днями и ночами лил дождь, и капли неумолчно стучали по крыше, и хлестала под окном вода, стекая по желобу в кадку. На дворе была слякоть, туман, черная мгла, в которой тусклыми, расплывчатыми пятнами светились окна фельдшерского домика и керосиновый фонарь у ворот.

В один из таких вечеров я сидел у себя в кабинете над атласом по топографической анатомии. Кругом была полная тишина, и только изредка грызня мышей в столовой за буфетом нарушала ее.

Я читал до тех пор, пока не начали слипаться отяжелевшие веки. Наконец зевнул, отложил в сторону атлас и решил ложиться. Потягиваясь и предвкушая мирный сон под шум и стук дождя, перешел в спальню, разделся и лег.

Не успел я коснуться подушки, как передо мной в сонной мгле всплыло лицо Анны Прохоровой, семнадцати лет, из деревни Торопово. Анне Прохоровой нужно было рвать зуб. Проплыл бесшумно фельдшер Демьян Лукич с блестящими щипцами в руках. Я вспомнил, как он говорит «таковой» вместо «такой» – из любви к высокому стилю, усмехнулся и заснул.

Однако не позже чем через полчаса я вдруг проснулся, словно кто-то дернул меня, сел и, испуганно всматриваясь в темноту, стал прислушиваться.

Кто-то настойчиво и громко барабанил в наружную дверь, и удары эти показались мне сразу зловещими.

В квартиру стучали.

Стук замолк, загремел засов, послышался голос кухарки, чей-то неясный голос в ответ, затем кто-то скрипя поднялся по лестнице, тихонько прошел в кабинет и постучался в спальню.

– Кто там?

– Это я, – ответил мне почтительный шепот, – я, Аксинья, сиделка.

– В чем дело?

– Анна Николаевна прислала за вами, велят вам, чтоб вы в больницу шли поскорей.

– А что случилось? – спросил я и почувствовал, как явственно екнуло сердце.

– Да женщину там привезли из Дульцева. Роды у ей неблагополучные.

«Вот оно. Началось! – мелькнуло у меня в голове, и я никак не мог попасть ногами в туфли. – А, черт! Спички не загораются. Что ж, рано или поздно это должно было случиться. Не всю же жизнь одни ларингиты да катары желудка».

– Хорошо. Иди, скажи, что я сейчас приду! – крикнул я и встал с постели. За дверью зашлепали шаги Аксиньи, и снова загремел засов. Сон соскочил мигом. Торопливо, дрожащими пальцами я зажег лампу и стал одеваться. Половина двенадцатого… Что там такое у этой женщины с неблагополучными родами? Гм… неправильное положение… узкий таз. Или, может быть, еще что-нибудь хуже. Чего доброго, щипцы придется накладывать. Отослать ее разве прямо в город? Да немыслимо это! Хорошенький доктор, нечего сказать, скажут все! Да и права не имею так сделать. Нет, уж нужно делать самому. А что делать? Черт его знает. Беда будет, если потеряюсь; перед акушерками срам. Впрочем, нужно сперва посмотреть, не стоит прежде времени волноваться…

Я оделся, накинул пальто и, мысленно надеясь, что все обойдется благополучно, под дождем, по хлопающим досочкам побежал в больницу. В полутьме у входа виднелась телега, лошадь стукнула копытом в гнилые доски.

– Вы, что ль, привезли роженицу? – для чего-то спросил у фигуры, шевелившейся возле лошади.

– Мы… как же, мы, батюшка, – жалобно ответил бабий голос.

В больнице, несмотря на глухой час, было оживление и суета. В приемной, мигая, горела лампа-«молния». В коридорчике, ведущем в родильное отделение, мимо меня прошмыгнула Аксинья с тазом. Из-за двери вдруг донесся слабый стон и замер. Я открыл дверь и вошел в родилку. Выбеленная небольшая комната была ярко освещена верхней лампой. Рядом с операционным столом на кровати, укрытая одеялом до подбородка, лежала молодая женщина. Лицо ее было искажено болезненной гримасой, а намокшие пряди волос прилипли ко лбу. Анна Николаевна, с градусником в руках, приготовляла раствор в эсмарховской кружке, а вторая акушерка, Пелагея Ивановна, доставала из шкафика чистые простыни. Фельдшер, прислонившись к стене, стоял в позе Наполеона. Увидев меня, все встрепенулись. Роженица открыла глаза, заломила руки и вновь застонала жалобно и тяжко.

– Ну-с, что такое? – спросил я и сам подивился своему тону, настолько он был уверен и спокоен.

– Поперечное положение, – быстро ответила Анна Николаевна, продолжая подливать воду в раствор.

– Та-ак, – протянул я, нахмурясь, – что ж, посмотрим…

– Руки доктору мыть! Аксинья! – тотчас крикнула Анна Николаевна. Лицо ее было торжественно и серьезно.

Пока стекала вода, смывая пену с покрасневших от щетки рук, я задавал Анне Николаевне незначительные вопросы, вроде того, давно ли привезли роженицу, откуда она… Рука Пелагеи Ивановны откинула одеяло, и я, присев на край кровати, тихонько касаясь, стал ощупывать вздувшийся живот. Женщина стонала, вытягивалась, впивалась пальцами, комкала простыню.

– Тихонько, тихонько… потерпи, – говорил я, осторожно прикладывая руки к растянутой жаркой и сухой коже.

Собственно говоря, после того как опытная Анна Николаевна подсказала мне, в чем дело, исследование это было ни к чему не нужно. Сколько бы я ни исследовал, больше Анны Николаевны я все равно бы не узнал. Диагноз ее, конечно, был верный: поперечное положение. Диагноз налицо. Ну, а дальше?..

Хмурясь, я продолжал ощупывать со всех сторон живот и искоса поглядывал на лица акушерок. Обе они были сосредоточенно серьезны, и в глазах их я прочитал одобрение моим действиям. Действительно, движения мои были уверенны и правильны, а беспокойство свое я постарался спрятать как можно глубже и ничем его не проявлять.

– Так, – вздохнув, сказал я и приподнялся с кровати, так как смотреть снаружи было больше нечего, – поисследуем изнутри.

Одобрение опять мелькнуло в глазах Анны Николаевны.

– Аксинья!

Опять полилась вода.

«Эх, Додерляйна бы сейчас почитать!» – тоскливо думал я, намыливая руки. Увы, сделать это сейчас было невозможно. Да и чем бы помог мне в этот момент Додерляйн? Я смыл густую пену, смазал пальцы йодом. Зашуршала чистая простыня под руками Пелагеи Ивановны, и, склонившись к роженице, я стал осторожно и робко производить внутреннее исследование. В памяти у меня невольно всплыла картина операционной в акушерской клинике. Ярко горящие электрические лампы в матовых шарах, блестящий плиточный пол, всюду сверкающие краны и приборы. Ассистент в снежно-белом халате манипулирует над роженицей, а вокруг него три помощника-ординатора, врачи-практиканты, толпа студентов-кураторов. Хорошо, светло и безопасно.

Здесь же я – один-одинешенек, под руками у меня мучающаяся женщина; за нее я отвечаю. Но как ей нужно помогать, я не знаю, потому что вблизи роды видел только два раза в своей жизни в клинике, и те были совершенно нормальны. Сейчас я делаю исследование, но от этого не легче ни мне, ни роженице; я ровно ничего не понимаю и не могу прощупать там у нее внутри.

А пора уже на что-нибудь решиться.

– Поперечное положение… раз поперечное положение, значит, нужно… нужно делать…

– Поворот на ножку, – не утерпела и словно про себя заметила Анна Николаевна.

Старый, опытный врач покосился бы на нее за то, что она суется вперед со своими заключениями. Я же человек необидчивый…

– Да, – многозначительно подтвердил я, – поворот на ножку.

И перед глазами у меня замелькали страницы Додерляйна. Поворот прямой… поворот комбинированный… поворот непрямой…

Страницы, страницы… а на них рисунки. Таз, искривленные, сдавленные младенцы с огромными головами… свисающая ручка, на ней петля.

И ведь недавно еще читал. И еще подчеркивал, внимательно вдумываясь в каждое слово, мысленно представляя себе соотношение частей и все приемы. И при чтении казалось, что весь текст отпечатывается навеки в мозгу.

А теперь только и всплывает из всего прочитанного одна фраза:

«Поперечное положение есть абсолютно неблагоприятное положение».

Что правда, то правда. Абсолютно неблагоприятное как для самой женщины, так и для врача, шесть месяцев тому назад окончившего университет.

– Что ж… будем делать, – сказал я, приподнимаясь. Лицо у Анны Николаевны оживилось.

– Демьян Лукич, – обратилась она к фельдшеру, – приготовляйте хлороформ.

Прекрасно, что сказала, а то ведь я еще не был уверен, под наркозом ли делается операция! Да, конечно, под наркозом – как же иначе!

Но все-таки Додерляйна надо просмотреть…

И я, обмыв руки, сказал:

– Ну-с, хорошо… вы готовьте для наркоза, укладывайте ее, а я сейчас приду, возьму только папиросы дома.

– Хорошо, доктор, успеется, – ответила Анна Николаевна.

Я вытер руки, сиделка набросила мне на плечи пальто, и, не надевая его в рукава, я побежал домой.

Дома в кабинете я зажег лампу и, забыв снять шапку, кинулся к книжному шкафу.

Вот он – Додерляйн. «Оперативное акушерство». Я торопливо стал шелестеть глянцевитыми страничками.

«…поворот всегда представляет опасную для матери операцию…»

Холодок прополз у меня по спине вдоль позвоночника.

«…Главная опасность заключается в возможности самопроизвольного разрыва матки».

Само-про-из-воль-но-го…

«…Если акушер при введении руки в матку, вследствие недостатка простора или под влиянием сокращения стенок матки, встречает затруднения к тому, чтобы проникнуть к ножке, то он должен отказаться от дальнейших попыток к выполнению поворота…»

Хорошо. Если я сумею даже каким-нибудь чудом определить эти «затруднения» и откажусь от «дальнейших попыток», что, спрашивается, я буду делать с захлороформированной женщиной из деревни Дульцево?

Дальше:

«…Совершенно воспрещается пытаться проникнуть к ножкам вдоль спинки плода…»

Примем к сведению.

«…Захватывание верхней ножки следует считать ошибкой, так как при этом легко может получиться осевое перекручивание плода, которое может дать повод к тяжелому вколачиванию плода и, вследствие этого, к самым печальным последствиям…»

«Печальным последствиям». Немного неопределенные, но какие внушительные слова! А что, если муж дульцевской женщины останется вдовцом? Я вытер испарину на лбу, собрался с силой и, минуя все эти страшные места, постарался запомнить только самое существенное: что, собственно, я должен делать, как и куда вводить руку. Но, пробегая черные строчки, я все время наталкивался на новые страшные вещи. Они били в глаза.

«…ввиду огромной опасности разрыва… внутренний и комбинированный повороты представляют операции, которые должны быть отнесены к опаснейшим для матери акушерским операциям…»

И в виде заключительного аккорда:

«…С каждым часом промедления возрастает опасность…»

Довольно! Чтение принесло свои плоды: в голове у меня все спуталось окончательно, и я мгновенно убедился, что я не понимаю ничего, и прежде всего какой, собственно, поворот я буду делать: комбинированный, некомбинированный, прямой, непрямой!..

Я бросил Додерляйна и опустился в кресло, силясь привести в порядок разбегающиеся мысли… Потом глянул на часы. Черт! Оказывается, я уже двенадцать минут дома. А там ждут.

«…С каждым часом промедления…»

Часы составляются из минут, а минуты в таких случаях летят бешено. Я швырнул Додерляйна и побежал обратно в больницу.

Там все уже было готово. Фельдшер стоял у столика, приготовляя на нем маску и склянку с хлороформом. Роженица уже лежала на операционном столе. Непрерывный стон разносился по больнице.

– Терпи, терпи, – ласково бормотала Пелагея Ивановна, наклоняясь к женщине, – доктор сейчас тебе поможет…

– О-ой! Моченьки…нет… Нет моей моченьки!.. Я не вытерплю!

– Небось… небось… – бормотала акушерка, – вытерпишь! Сейчас понюхать тебе дадим… Ничего и не услышишь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/ru/mihail-bulgakov/zapiski-yunogo-vracha-kupit

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить